

СОДЕРЖАНИЕ



Пролог.....	7
Дорога надежд.....	15
Ад в Вечном городе	68
Иные пути	126
Осколки истории.....	186
Святая Земля.....	244
Эпилог.....	302
Благодарности.....	306
Указатель географических названий и святынь	307



К дому святого я подошел под вечер. Невидимый прежде, издали, из-за окутавших его клубов тумана, теперь дом проступал из мгlistой пелены — белыми стенами, приземистой дверью, черепицей, створками ставен... У одной покривился затвор, она отошла и словно звала заглянуть внутрь, и я, приникнув к стеклу, всматривался в сумрак, пока не привыкли глаза и тьма не разошлась, как занавес в театре. Просторный зал. Грубо сколоченный стол посредине. Рядом с ним — деревянный стул. Каминная плита на опорах. Между ними — огромный розарий с бусинами, увесистыми, точно костяшки, и распятием цвета слоновой кости. И еще, ветхим саваном — пыль: на мебелировке, на полу, на стеклах...

Я потянул дверь. Та подалась: ее никто не запер — и я шагнул в кислую промозглую стынь. На столе лежала раскрытая гостевая книга. Последнюю запись внесли восемь месяцев тому назад, весной — двадцать имен детским почерком: школьный класс на каникулах. Под книгой нашлась самодельная настольная игра: три фишки — фигурки паломников — и доска, по которой, разбитая на квадратики с номерами, вилась дорога-змейка. Начинаясь она с единицы, от того самого домика, где я сейчас гостил, а завершающая клетка, пятьдесят пятая, символизировала Рим.

На стенах висели картонки с посеревшими от сырости текстами. Тут святой помогал матери печь хлеб. Там играл с братьями и сестрами. Наверху возносил молитвы.

Я сбросил с плеч рюкзак, поставил его на пол и поднялся наверх. По всей длине дома, утепленная по углам смесью гравия, соломы и глины, тянулась мансарда с кирпичной трубой. Черепица лежала на голых балках, бледных, как те четки над камином, отчего комната походила на реберный каркас. За дымоходом, в побеленном известью алькове, виднелись панцирная койка, статуя изможденного юноши — невысокая, мне до пояса — и каменная плита с надписью *Merci à St Benoît* — «Благодарение святому Бенедикту». Над кроватью, на полке, лежало распятие. Лик Христа казался безмятежным, словно Спаситель просто прилег отдохнуть.

Здесь святой проводил каждую ночь.

Об этом доме мне рассказали вчера, в аббатстве святого Павла в Виске. Здесь провел свои детские годы небесный покровитель всех пилигримов, и стоило братьям узнать, что я иду в Иерусалим, как они наперебой стали упрашивать меня: посети! Это святое место! Посети его! Обязательно! Непременно! И теперь я стоял у постели святого и пытался вспомнить остальную его историю.

Бенуа-Жозеф Лабр — так звучит его имя на французском — родился в середине XVIII века в семье купца. Дядя его был священником. Мать родила пятнадцать детей: пятерых мальчиков, пятерых девочек, и еще пятеро умерли, так и не успев увидеть этот свет. Дети росли в Амете, маленьком поселке в семидесяти километрах к югу от Кале. В детстве Бенуа был тихим и набожным и в шестнадцать решил уйти в монастырь. Но его гнали прочь. Картезианцы в коммуне Лонгнесс. Цистерцианцы в аббатстве Ла-Трапп. Он был слишком юн. Слишком слаб. Слишком хрупок. Не понимал хорала. Не знал философии. Мальчик хотел оставить мир, но любая попытка завершалась крахом — и тогда он изгнал себя сам.

В двадцать один год Бенуа-Жозеф ушел из дома и обещал вернуться к Рождеству, но из родных его больше не видел никто — ни мать, ни отец, ни братья, ни сестры.

Семь лет он странствовал по Западной Европе. Начиналась последняя треть столетия. Паломнические пути, некогда соединявшие континент, давно поросли бурьяном. В те дни, когда выпало жить Бенедикту, век святых путешествий давно канул в Лету — до эпохи пара и то оставалось меньше, чем прошло с тех времен, — но он ходил пешком от Айнзидельна до Рима, от Лорето до Сантьяго-де-Компостела. Юноша, слишком слабый для монастырской жизни, прошел тридцать тысяч километров без гроша в кармане, не имея даже плаща, в который мог бы закутаться ночью.

Его дни были сплошной чередой лишений. Ел он черствый хлеб или придорожную траву. Спал на земле, а когда предлагали приют, отказывался лечь в постель и ночевал на ступенях. Он подражал юродивым ради Христа — средневековым мистикам, жившим подобно зверям и безумцам, — и, страшась гордыни, выбрал жалкое прозябание. Как говорил его духовник, брат Марконий, то было смирение, рожденное любовью, ибо паломник так любил своих братьев, что своей аскезой надеялся искупить хотя бы малую толику их грехов. Но любовь ли погнала его из дома? Я смотрел на его панцирную кровать — и вполне мог представить иную причину. Он

ведь с самого детства мечтал о монашеской жизни! Но мир взрослых его отверг — так, может, он решил навсегда остаться ребенком, словно Питер Пэн, подавшийся в пилигримы?

Так ли это было на самом деле? Или я просто хотел, чтобы его паломничество хоть как-то объяснило мое? Ведь святой Бенедикт оберегал не только паломников, но и простых бродяг, одиночек и сумасшедших. И в тот день, когда я стоял в его спальне, я чувствовал, что его история и правда может хоть чему-то меня научить.

В алькове царил полумрак, в доме не слышалось ни звука — ни скрипа дверей, ни сквозняков из-под пола: все заглушала пыль. Но я смутно осознавал, что уже не один, и потому покинул мансарду, сошел вниз по лестнице и выскользнул в туман.

Мое первое паломничество состоялось полгода назад, в середине лета. Я шагнул за порог своей лондонской квартиры, пошел на восток, вдоль Темзы, а потом двинулся дальше, по средневековой дороге, ведущей в Кентербери. И это было поразительно, ведь почти год я дрожал от страха при одной только мысли о том, что выйду из собственной комнаты.

Мне было двадцать три, когда случился нервный срыв. Я боялся города; боялся толпы в обеденный перерыв; боялся забитых в час пик поездов; боялся улиц, дышавших тревогой и злобой. На работе я только сидел за столом — весь день, будто кукла. Я ходил к психиатрам и докторам, к терапевтам и консультантам. И валялся в кровати, отвернувшись от окна, а мысли пожирали мой разум.

В тот год страх стал меньше. В начале лета я слез с антидепрессантов. Дни становились все жарче, желание выйти на улицу крепло, и в июне я наконец решился. Почему Кентербери? Не знаю. Маленькая глупая прихоть. Все-таки там родилась английская литература. Погоду обещали хорошую: отлично, оставлю дождевик дома. И карты покупать не буду, если что, есть телефон. День долгий, только в среду было солнцестояние. Идеально.

Ага, мечтай.

Два дня я шел от рассвета до заката. Я преодолел почти сотню километров — это жестоко, когда в поход ты в последний раз ходил еще в школе. Во вторник я сбился с пути, и пришлось садиться на поезд и ехать в хостел. В среду я за час промок как собака, потом обгорел и весь день брел по трассе A2, где мне едва не выели глаза выхлопные газы. Я дошел до Кентербери с разбитыми в кровь ногами. Но я не помню боли. Я помню, как лежал на траве под собором, и ночь сменяла день, и мне было так легко, что мелькнула мысль, будто

я исцелился. Мой мир так долго уменьшался, что сжался до клетки — и только теперь он снова обрел простор.

У южной паперти собора виднелся камень с травленой фигуркой — пилигрим с посохом и сумой. Фигурку окружала надпись: «Виа Франсигена/Кентербери — Рим». В то время я почти ничего не знал о дороге, ведущей к собору Святого Петра. Но, пока я лежал на траве, меня вдруг озарило: а почему бы не пойти дальше? Оставить Англию, отправиться в Италию, а потом до края Европы, вперед и вперед, до самого святого города!

Виа Франсигена... На следующий день я узнал о ней все что мог. Интернет знал ее имена: Дорога франков, Дорога ломбардов, Дорога англов, Дорога римлян... Знал всех англосаксонских королей, прошедших по ней до конца — Кэadwalла, король Уэссекса; Кенред, король Мерсии, Оффа, король Мерсии; Ине, король Уэссекса... Альфред Великий; король Кнуд... Интернет говорил, что в 990 году по Дороге франков прошел архиепископ Кентерберийский, желавший получить паллий из рук папы римского. На обратном пути хронист отмечал все города и поселки, где они останавливались. Я нашел цифровую копию манускрипта, страничку с пронумерованными латинскими названиями, и некоторые даже смог распознать: *I Urbs Roma, XXVI Luca, XXXVIII Placentia, LIV Losanna*. Рим, Лукка, Пьяченца, Лозанна. Когда-то Дорога франков была главной паломнической артерией Северной Европы. Ее маленький участок сохранился еще с тех далеких времен — и тысячу лет спустя, когда святые путешествия возродились, именно он лег в основу современного маршрута.

Она не оканчивалась собором Святого Петра, но шла дальше, и в Албании переходила в другую древнеримскую магистраль, Эгнатиеву дорогу; та пересекала Балканы и завершалась в Турции, а потом целая сеть путей, по которым некогда шли крестоносцы, вела в Святую Землю.

Рим, Стамбул, Иерусалим. Да, это оно. Мое паломничество.

Спроси меня кто о планах, и я бы ответил, что хочу понять причины главных кризисов христианства: упадка веры в Западной Европе и исхода христиан с Ближнего Востока. И это была правда... хотя, конечно, дело было не только в ней. Этого мне не хватило бы на то, чтобы превратить свою жизнь в скитания. Была и другая причина. Но о ней я молчал. Да, приступы паники прекратились. Но мне не стало хорошо. Вернее, да, стало, но все равно не так, как прежде — раньше я чувствовал себя намного, намного лучше. Теперь я был хрупким, как хрустальная статуэтка. Я мог упасть от ветерка.

И я верил, что паломничество вернет мне силу. Я шел, чтобы вылечить себя, но стыдился это признать. Я не верю в Бога, не верю в чудеса и не верю, будто обряд способен исцелить от болезни. И потому, когда друзья начали расспрашивать меня о путешествии, я сказал, что мне нужны упражнения и что водить машину мне нельзя, мотоцикла у меня нет, а летать я боюсь.

— Ты хоть вернешься? — со смехом спрашивали они.

Родным я тоже сказал совсем немного — только то, что иду в паломничество и приду в конце года.

Прямо как Бенуа-Жозеф, еще не ставший святым.

Спустя три месяца после того летнего похода я уволился. Прошло еще три — и я съехал с квартиры. Канун Нового года я провел у родителей: паковал в рюкзак спальник, палатку, дождевики, тетрадки, шесть пар носков и губную гармошку на случай, если станет скучно. Наконец пришло долгожданное утро, мама завернула мне сэндвичи вместе с остатком рождественского пирога, и отец отвез меня в Кентербери, к собору.

И я верил, что паломничество вернет мне силу. Я шел, чтобы вылечить себя, но стыдился это признать.

Мы успели к утренней молитве. Помню, как солнце, бившее в окна крипты, озаряло ажурную кладку стен. Закончив службу, старший священник благословил меня в капелле Святой Троицы, мы с отцом распрощались, и я отправился в путь.

Так в первый день нового года, во вторник, я сделал свой первый шаг к Иерусалиму. Утро выдалось на удивление светлым и ясным. Шел я неспешно, смотрел в безоблачное небо и гадал: а может, это провидение? Но паром, отплывший из Дувра, вошел в туман — и с тех пор каждое новое утро начиналось с тумана. Светало в девять, темно в пять, я пробирался по грязным тропинкам — медленно, медленно, до безумия медленно, а когда миновал Кале и двинулся на юго-восток, мне часто приходилось бежать, иначе я не успевал преодолеть дневной отрезок пути до наступления ночи.

В пятницу я шел по залежам голубой глины, в густом тумане, и воздух пах горечью, словно костер после дождя. Когда я добрался до Амета, день уже клонился к вечеру, и я, бродя в серых сумерках, пытался представить, как выглядел поселок двести пятьдесят лет тому назад. Это было несложно: здесь до сих пор стояли столетние амбары и конюшни, а уличные фонари закоптились от мутной дымки. Дом Лабра меня разочаровал. Я ожидал каких-то вывесок, туристических групп,

может, даже сувенирную лавку, — а нашел мрачные и гнетущие комнаты, украшенные парочкой пыльных финтифлюшек.

Над домом, на холме, виднелась церковь. В ней пахло свечным воском и мокрыми медяками, и туман, втекавший сквозь двери, клубился в нефе, словно фимиам.

Интерьер был посвящен святому Бенедикту: тканые портреты на полотнищах; парча с золотистым блеском, от старости успевшая позеленеть; картины, на которых смотрел в небеса юноша с запавшими щеками... Его биография повторялась трижды: на ламинированных досках, на иллюстрированных плакатах и на витражном оконном стекле. Я обходил ряды и все пытался понять: да чем эта история так меня заворожила?

В двадцать восемь лет он окончил свое паломничество, пришел в Рим и жил вместе с нищими в Колизее. Вскоре по городу разнеслась молва — о том, как юноша, преклонив колени в церкви, вдруг воспарил над землей; о том, как он молился в ореоле света; о том, как в его руках простая буханка превратилась в две, в десять, в двадцать, и как он раздал весь хлеб, ничего не оставив себе... Он хотел избавиться от всех страстей, но это сделало его хрупким и слабым. От непрерывных молитв на Сорока часах у него распухли колени. От постоянного поста раздулся живот. В Великую Среду он упал в обморок на службе в Санта-Мария-деи-Монти. Ему было тридцать пять. Его отнесли в ближайший дом, дали последнее причастие, и в тот вечер дети высыпали на улицы с криками: «Святой скончался!»

Его положили в церкви. Проводить святого в последний путь пришло столько людей, что у дверей пришлось выставлять стражу. Чудеса свершались каждый день: больные, умирающие, безумцы — все молились святому Бенедикту и исцелялись, исцелялись, исцелялись...

Слухи о чудесах пошли по всей Европе. Не прошло и трех месяцев, как парижские и лондонские газеты писали о нищем, которого Рим счел святым. Так родители Лабра узнали, что стало с их сыном.

В начале XIX столетия церковь Амета приобрела ряд реликвий, связанных с Бенуа-Жозефом. Одни были выставлены в северном трансепте, включая купель, где его крестили младенцем, и соломенную циновку, на которой он умер. Остальные я нашел в застекленных ящиках у входа. Кожаная туфля в позолоченной деревянной шкатулке. Гипсовая маска на подкладке из пурпурного шелка. Пара трухлявых наколенников. Кто был передо мной? Странное дитя эпохи Просвещения? Или великий мученик Средневековья?

В 1881 году пилигрима объявили святым. В день его канонизации Поль Верлен, прославленный поэт-декадент, посвятил этому один из своих сонетов. Оценивая эпоху Вольтера, Робеспьера и Руссо, он уверял, что Лабр был «единственным светлым лучиком во Франции XVIII века». Жюль Барбе д'Оревильи, денди и романист, учитель Пруста, назвал Бенедикта «величайшим бродягой». Андре Бретон, отец сюрреализма — «блистающим нищим». Жермен Нуво, еще один поэт, некогда деливший апартаменты с самим Рембо, в припадке безумия посетил Амет и поклялся провести остаток дней в нищете, а потом, подражая святому, дважды ходил паломником в Сантьяго-де-Компостела.

Неудивительно, что Лабр так очаровал модернистов эпохи *fin de siècle*. Его смирение отдавало игрой на публику; его набожность была пронизана гордыней. Возможно, потому он околдовал и меня, но теперь, при взгляде на эти реликвии, я вдруг ощутил, что в его медленном благочестивом самоубийстве было нечто достойное жалости.

Участок холма между церковью и домом укрывал парк с серой травой и черными клумбами. Четырнадцать точек обзора — надгробные камни с барельефами, изображавшими Страсти Христовы, — сходились в кольцо. Христос несет крест. Христа распяли. Христа сняли с креста и положили в гроб. Под скульптурами значились имена жертвователей: *приход Марвиля; графиня Бриа; семья М. Лабра Лароша...* Несколько имен заросли лишайником, а один из алтарей, тринадцатый, утерял остроконечную башенку.

Точки обзора спускались в низину, а потом снова поднимались по дальнему склону холма. Я решил пройти весь круг, а потом уйти, и пока я гулял по парку, в голове крутилось одно и то же: Крестный путь, Крестный путь, Крестный путь. *Chemin de Croix. Via Crucis*. Эталон христианского паломничества. Следуя за Христом, паломник разделяет Его жертву. Если кто хочет следовать за мной, сказал Иисус ученикам, пусть отвергнется себя, возьмет крест свой и идет. Бенуа-Жозеф Лабр услышал этот зов, уморил себя голодом во имя спасения, и его история не давала мне ни минуты покоя. Нет, она не пугала — она была мне близка. Брести неведомо куда, через весь континент, вслед за желанием, которому нет имени... Чувствовать себя так, будто приносишь жертву... О да, это мне было знакомо!

Следуя за Христом, паломник разделяет Его жертву.

На вершине парка, за четырнадцатым алтарем, в земле застыли три креста. Прожектор озарял распятые тела; у крестов, прикрыв лица, стояли три женщины. Мария, мать Христа, склонилась у ног сына. Я посмотрел вверх, прожектор на миг замкнуло, свет дрогнул, и по скульптурам пробежала тень, словно над сценой, вверху, пронесся невидимый призрак.

Уже стемнело. Я шел все дальше, мимо последних стояний, пока и дом святого, и долина не скрылись в туманной мгле. Ветки терзали небо, словно шипы. Далеко в вышине, яркой звездой в наставшей ночи, блистала Кальвария.



ДОРОГА НАДЕЖДА

Школа имени Жана-Батиста де ла Салля размещалась в бунгало. Точнее, в трех. Небольшие одноэтажные домики ограждали внутренний двор. Бетон украшала занятная композиция, нарисованная мелом — круг, звезда, щит и гербовая мантия: то ли школьная эмблема, то ли площадка для игр. Она заканчивалась у крыльца с запертыми двойными дверями. Позади нашлись еще несколько домиков, столовая, капелла и лужайка, где стоял рождественский вертеп — волхвы ростом с первоклашек и ясли, оббитые мерцающими китайскими фонариками.

Адрес школы мне дали вчера утром. Пансион принадлежал братству святого Пия X, и священники с радостью принимали паломников... по крайней мере мне так сказали. Впрочем, телефона мне никто не назвал, позвонить заранее я не мог и не знал, смогу ли остановиться, а теперь боялся, что дома вообще никого не окажется.

Я ждал довольно долго, и наконец ко мне вышел молодой священник. Я попытался объяснить, что четыре дня тому назад покинул Кентербери, что шел по Дороге франков, что пройду всю Францию, потом Швейцарию...

— Негде спать? — оборвал он.

— Если можно...

— Сколько?

— Ночь.

— Завтра вернутся ученики.

— Я уйду утром.

— Утром месса.

— После мессы.

Священник скрестил руки на груди, потом развел их. Высокий, долговязый, он шумно вздохнул, не размыкая губ.

— Вы один?

— Да.

— Совсем один?

— Совсем.

Его звали брат Робер. В лазарете были свободные койки. Да, кажется, были. Там. Я мог спать там.

Двойные двери вели в зал, где с потолка свисали цепи, сплетенные из бумаги, а в углу, грустно поникнув ветками, стояла рождественская елка.

— Вот ключ, — сказал брат Робер. — Лазарет там, в конце. Только все закройте, когда будете уходить. А то эти сорванцы поворачивают таблетки.

Кроватей в лазарете было две. Одна, с жестко закрепленным изголовьем, напоминала операционный стол. На другой лежали резиновый матрас, простыни с эластичными бортами и пододеяльник *Quick & Flurke*. С полок свешивалась мишура. По комнате разносился резкий запах антисептика, смешанного с полиролью для пола. В углу устроили душевую с пластиковыми панелями — низкую по любым меркам, и я, пока пытался вымыться, отбил себе все руки и голени.

Брат Робер вернулся через час. Ужин.

Священники жили в комнате сбоку от входа в зал. На кухне ждали еще двое. Первый, брат Иосиф, застенчивый, с робкой улыбкой, хлопотал в синем фартуке у духовки. Второй, брат Жан, коренастый и дюжий, сидел за столом, все время зевал и рассуждал о том, кто из учеников пойдет в семинарию, как выступал в футбольной лиге местный «Аррас» и в какой день обрезали младенца Иисуса.

— А что сегодня в меню? — спросил я.

Брат Иосиф поставил на стол поднос, накрытый скатертью — и артистично сорвал ее, когда брат Жан постучал по столу. Под ней оказалась корзина с хлебом, миска растительного масла и четыре горшка тапенады — соуса из зеленых и черных оливок, баклажанов и бараньего гороха.

— Икра! — возгласил брат Иосиф.

— Для крестьян, — дополнил брат Робер.

— Для священников, — усмехнулся брат Жан. — И для паломников.

Потом брат Жан прочел молитву, и мы сели за стол. Хозяйева раздавали тапенаду, из смирения никто не хотел брать первым, но наконец трапеза все же началась, и брат Робер сказал:

— Да, прямо Тайная Вечеря...

— Тайная Вечеря? — переспросил я.

— Последний выходной. Каникулы-то кончились. Завтра понедельник, и опять уроки.

— А что вы преподаете?

— Да все что угодно.

— Видите ли, учительство — это не совсем призвание брата Робера, — виновато улыбнулся брат Иосиф.

— Эта школа — мое наказание, — брат Робер фыркнул, давая понять, что шутит. — Мой вавилонский плен.

— А как долго вы уже в пути? — спросил у меня брат Жан.

— Да, в общем-то, не так и давно, — признался я. — Вышел во вторник.

— И как пойдете по Франции?

— Аррас, Реймс, Шалон-ан-Шампань, — я перечислил города, которые помнил. — Безансон, Понтарлье. Потом через границу и в Швейцарию.

Он кивнул.

— И вы идете в Рим?

— В Иерусалим! — ответил за меня брат Робер.

Брат Иосиф хлопнул в ладоши и засыпал меня вопросами. Нет, я не студент. Нет, не академик. Нет, я не учусь на священника. Не намерен быть миссионером. Не стремлюсь обрести веру. Да, это мое первое паломничество. Нет, правда первое. Нет, я не был в Сантьяго-де-Компостела. И в Ассизи тоже не был. И в Лурде. С каждым моим ответом на его лице все сильнее проступала растерянность.

— Но зачем вы тогда идете? — наконец спросил он.

Я объяснил: меня воспитывали в вере англикан, но в юности я перестал верить и теперь не слишком-то понимал, на что это похоже, а потому счел, что лучший способ узнать о религии — это принять участие в ритуале, вот и решил отправиться в Иерусалим и наряду с тем побольше узнать о христианах, которых встречу на пути. Эту речь я записал по-французски и выучил наизусть еще на пароме, пока ехал в Дувр. Священники встретили мой монолог хмурыми бровями (брат Робер), зевком (брат Жан) и нервной усмешкой (брат Иосиф).

— А как пойдете зимой? — спросил брат Робер.

Я растерянно покачал головой.

— Вам что, негде переждать холода?

— Ну, у меня есть палатка и спальник...

— А если заблудитесь?

— У меня есть карты до самой Италии.

— Вы что, собрались через Альпы? — поразился брат Жан.

— Да, через Альпы, — ответил я, волнуясь все сильнее. — Через Гран-Сен-Бернар.

— По снегу? — столь же хмуро, как и прежде, спросил брат Робер. — На три километра вверх по снегу?

— Надену снегоступы...

Брат Робер снова фыркнул. Брат Жан рассмеялся лающим смехом.

— Нет, вы правда первый раз в пути? — спросил брат Иосиф, словно не веря тому, что я уже говорил раньше. — Это правда ваше первое паломничество?

Я РЕШИЛ, ЧТО ЛУЧШИЙ СПОСОБ УЗНАТЬ О РЕЛИГИИ — ЭТО ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В РИТУАЛЕ.

Спать я пошел рано, но никак не мог уснуть. Стоило только повернуться, и резиновый матрас безбожно скрипел. Меня мучили вопросы брата Робера. Я подготовился к плохой погоде! У меня

весь ранец был забит дождевиками и термобельем! Но я и представить не мог, что меня остановит снег!

Я лежал и смотрел в потолок. За окном проезжали машины; свет фар пробивался сквозь шторы и озарял книжную полку над головой. Я заметил карманный катехизис, комикс о жизни святых, книжку из разряда «сам себе детектив» с венецианским антуражем и эротический памфлет *Jésus et son corps* — «Иисус и его тело». На нижней полке стоял вертеп. Быка и осла сменил сафари-парк — пара львов, три антилопы и резной деревянный слон. Ясли устлала мишура, подобно соломе, озарив золотым блеском дивную ночь. Рождественская сцена убаюкала меня, и страхи притихли.

Утром праздновали Богоявление. Мессу служили в школьной капелле, домике, похожем на букву «А», в зале с молочно-белыми портьерами. Священники облачились в ризы из белой парчи, певчие — в стихари из белого шелка, и старушка в белой кружевной вуали украшала алтарь морозником.

На воскресных службах в церкви я не был лет шесть. А может, и семь. Остальные прихожане — семьи из близлежащих поселков — знали, когда и куда встать, когда преклонить колени, когда прикоснуться ко лбу и провести, словно вслед за стекающей каплей елея, линию к сердцу. Я старался подражать как мог, но часто не попадал в такт. Я никогда прежде не был на латинской литургии, я впервые слышал эти гимны с молитвами и разве что узнал чтение из Евангелия: то был отрывок из Матфея, история о троих волхвах, о звезде на востоке, о ребенке, рожденном в Вифлееме, и о дарах — золоте, ладане и смирне.

Брат Жан произнес гомилию. Он говорил, что не следует объедаться в Рождество и слишком много пить в Новый год и что сам он решил больше молиться, чаще звонить сестре и дважды в неделю бегать трусцой.

Потом он стал говорить о волхвах.

— Святые Мельхиор, Гаспар и Вальтасар, странники с Востока — из Индии, Персии, Аравии, — прошли тысячи километров, зимой, только чтобы увидеть младенца! — он посмотрел на меня почти что с добротой. — То были первые паломники, пришедшие к нашему Господу!

После мессы священники продавали печенье в церковном вестибюле. Еще утром пекарь привез к воротам школы восемьдесят четыре пирога с запеченными бобами, *galettes des rois*, и теперь ряды пирогов выстроились на подносах, а прихожане выстроились за ними в очередь. Двигалась она медленно: каждый считал за должное посплетничать с любимым священником — будь то брат Робер, смегтавший пироги с лотка резкими движениями руки, или брат Иосиф, склонившийся над grossбухом и писавший прихожанам рецепты, или брат Жан, принимавший у прихожан подарки — шоколадки и леденцы.

Когда я вернулся в лазарет, комнату озаряло ярчайшее солнце, и ослепительный свет играл бликами на мишуре и вдыхал новую жизнь в выцветший пластик душевых панелей. Я снял с матраса простыню, сложил «мультишное» одеяло, упаковал рюкзак, вышел и замкнул дверь.

Было почти одиннадцать. Я пошел в последний раз повидать священников. Брат Иосиф сидел в кабинете и считал деньги с продаж. У его ног стоял пухлый мешок с конфетами, и он, словно в ответ на мой стук в дверь, зачерпнул оттуда щедрую горсть.

— Прошу... — он протянул мне сладости. — Женщины в определенном возрасте... они думают, у нас тут никакого веселья. Что Рождество, что Пасха, все одно и то же: «Возьмите, брат Иосиф! Они искушают меня, брат Иосиф! Они — это дьявол, брат Иосиф!» Мы раздаем их ученикам, и те едят, пока из ушей не полезет, а потом болеют!

— Благодарю, — кивнул я, а сам подумал: если такая доброта ждет меня на всем пути, что мне бояться зимы?

Брат Робер и певчие убрали зал. Один мальчик заворачивал декорации в пузырчатую пленку, другой паковал бумажные цепочки в зеленые сумки из «Галери Лафайет», а третий рывком закинул